

«Человек же с характером, деятель...» – «подпольный» человек в контексте семантического определения нигилизма

KATALIN KROÓ, *Eötvös Loránd University*
krookatalin@freemail.hu

Received: July 30, 2017.

Accepted: November 14, 2017.

АННОТАЦИЯ

Статья ставит в центр внимания «Записки из подполья» Достоевского, продолжая начатое в других работах автора изучение вопроса характерологии в контексте толкования нигилизма как типичного семантического конструкта в русской литературе XIX века. Характерологический вопрос в рамках данного подхода рассматривается в свете языкового воплощения идеи нигилизма посредством мотивов, определяемых в качестве универсалий русской культуры (*скука, дело* и т.д.). Такой подход дает возможность толковать поставленную подпольным человеком философскую, психологическую и моральную проблематику путем осмысления семантической динамики последовательного сочетания мотивов отрицания и утверждения (собирательная мотивная конструкция с ее вариантами, см. *всё–ничего*) в тексте произведения Достоевского. Рассматривается удвоение центральных мотивов в определенных лексических выражениях и синтаксических структурах и подчеркивается их семантическая связь с характеристикой словесного поведения героя (см. имплицитную метафору *поведенческого слова*) и времени (мотивы *начало, конец* и их метафоризация в смысле *крайностей*). Творческое сознание подпольного человека порождает из толкования мира и себя в дихотомически сформулированных, полярно противопоставленных парах такой процесс, развитие которого по ходу создания записок, а затем повести, последовательно опирается на создание взаимоинклюзивности смысловых полярностей. В то же время изменяется соотношение временной пунктуальности и процессуальности в динамике перетолкования идеи «нигилизма». По этому ходу раскрываются семантические связи между определениями доподпольного, подпольного и заподпольного периодов главного героя, что и приводит чтение к трансформации *делать* → *делаться*, интерпретируемой в плане семиотики текстопорождения и *труда* творческого субъекта.

Ключевые слова: Достоевский, нигилизм, «Записки из подполья».

“A man of character, a man who acts...” – The Underground Man in the Context of the Semantic Definition of Nihilism

ABSTRACT

The paper examines *Notes from Underground* by Dostoevsky continuing the discussion of the problem of character type already raised in previous works by the author of this presentation, relating to the explanation of *nihilism* as a typical semantic construct in 19th-century Russian literature. Within this framework the character typology is approached in the light of its definition in terms of the linguistic formulation of the idea of nihilism through motifs representing Russian cultural universals, such as *boredom, deed [delo]*, etc. This kind of reading makes it possible to interpret the philosophical, psychological, moral sides of the questions treated by the underground man by revealing the semantic dynamics of the systematic combination of motifs of negation and affirmation (for the collective motif invariant with its variants see *all–nothing [vsjo–nichego]*). The analysis looks at the semantic doubling of the crucial motifs of Dostoevsky’s work (*word [slovo], deed [delo], directness [neposredstvennost’]*) in certain lexical units and syntactic compositions, underlying their semantic cohesion with the characterisation of the protagonist’s verbal behaviour (cf. the implicit metaphor of *the behavioural word*) and the poetic conceptualisation of *time* (the *beginning* and the *end* with the metaphorisation of time in the sense of the *extremes*). The creative consciousness of the underground man out of his world- and self-interpretation in static dichotomies and polarly contrasted pairs creates a process, the development of which in the course of writing his notes – and then the *Notes...* – systematically relies on reciprocally inclusive semantic poles. At the same time, the relationship between

the temporal point and process is semantically reevaluated in the dynamics of semiotic evolution of motifs and their textual arrangement into semantic patterns reinterpreting the idea of nihilism. In this way the relationship between the semantisations of the protagonist's pre-underground, underground and post-underground periods are revealed, leading to the understanding of the semantic transformation of the idea of *deed / to do (delo /delat')* into that of *the process of being done (delat'sja)* as related to the personality in terms of the semiotics of text-creation and the *work* of the creative subject.

Keywords: Dostoevsky, nihilism, *Notes from Underground*.

Начну с выяснения идеи, подразумеваемой под «семантическим определением нигилизма». Толкование нигилизма будет приводиться не с философской, исторической или идеологической точки зрения. Вместо этого проблема «нигилизма» рассматривается в контексте твердо укоренившейся к шестидесятым годам литературной традиции, которая может быть раскрыта в плане выяснения *поэтики отрицания*. В этом духе я разбирала ранее (2016) текст «Вечного мужа» и романа Джона Максвелла Кутзее «Осень в Петербурге», указывая на оксюморонную конструкцию *всё–ничего* в качестве основного кода развертывания темы нигилизма, связанной с общими смысловыми аспектами обозначаемых *нигиль / ничто / ничего* – и вообще с самыми разными формами отрицания, а также вариантами *пустоты, нехватки, отсутствия, уничтожения* и т.д. В то же время, оксюморонная конструкция *всё–ничего* через мотив *всё* содержит в себе противоположную идею возможности приобретения *всего* как *целостности / полноты / максимального исчерпывания бытия и тотального достижения интенсивности жизни и ее ценностей*.¹²⁰ Для произведений Лермонтова, Достоевского и Тургенева, в которых фигурирует литературный персонаж с доминантным признаком отрицания и/или сформулирована (коннотирована) тема нигилизма, характерно развитие внутренне противоречивого инварианта *всё–ничего* в целостный трансформационный сюжетный ход: своеобразный симбиоз отрицаний и утверждений через типические их мотивы проходит последовательное преобразование. Следовательно, правомерно поставить толкование поэтической характерологии таких героев, как Печорин, Базаров, Ставрогин и в том числе и подпольный человек Достоевского, в контекст изучения разных форм отрицания, которые неразрывны с выработкой поэтики утверждения. Такой семантический уклон проявляется в самых разнообразных языковых конструкциях, в которых связь негации и утверждения, мотивных вариантов *всё* (признаки *приобретения максимального, полного, тотального, целостного*) и *ничего* (*нехватки / отсутствия / пустоты* и т.д. – признаки *минуса*¹²¹) входит в культурную традицию содействия апофатического и катафатического образов дискурса¹²².

В духе сказанного поэтический смысл нигилизма в «Записках из подполья»

¹²⁰ Ср. *всё–ничего* с объяснением «фигуры фикции» у Гоголя: Белый, 1969, с. 80.

¹²¹ См. так называемых «лишних людей» и «нигилистов» и целую плеяду генетически родственных с ними литературных персонажей. В творчестве самого Достоевского, см. концепцию о «почти существующем» петербургском романе с главами: «Белые ночи», «Записки из подполья», «Кроткая», «Сон смешного человека», Velknar, 2000.

¹²² Интерпретацию негативной метафизики и апофатического дискурса в связи с поэтикой, напр., «Героя нашего времени», см.: Hansen-Löwe, 2014, Исапов, 2014, Шмид, 2014, р. 182-183. Об апофатическом и катафатическом принципе дискурсивной и семантической логики утверждения и отрицания, см. в работах Лахмани, 2011; Оге Ханзен-Лёве, 1996; Томаса Лахузена, 1987; Давида Гасперетти, 1989.

требует толкования динамики отрицания и утверждения, улавливаемой в речи подпольного человека по ходу сочинения им своих записок (начало) и повести (продолжение). Я ограничусь рассмотрением семантической линии, связанной с осмыслением возможности выбора правильного поступка и деятельности. Развитие такого типа семантического сюжета позволяет выяснить и то, каким образом возникает и перевоплощается проблема так называемого нигилизма в осмысление аспектов времени.

Как известно, главный вопрос, вокруг которого вращается вся дилемма характера, психологии и философии подпольного человека, тесно связан с его неспособностью адекватно действовать¹²³. Отрицание способности к реализации подходящего для «живой жизни» поступка для героя является главным стимулом искать себя и доискаться до потенциалов своих личностных перспектив (см. о поисках героя как *quest for himself*, Frank, 1961, p. 6). Речь идет и о психологических потенциалах и пределах (обида и мщение, см. Williams, 2005, p. 1301; о мщении в контексте *неблагодарности*: Martinsen, 2013a, особенно: p. 12), как и об интеллектуальных (негация правды «дважды два четыре») и моральных ограниченностях (напр., злость как «выгода» в добре или в эгоизме). Всё это входит в персональный характерологический (антропологический) вопрос «Кто я?», самым наглядным образом несущий конструкт совместного отрицания и утверждения. Такое сочетание имеет широкий спектр выражения. Если бросить хотя бы беглый взгляд на самое начало текста, сразу же видны лексические и синтаксические свойства отрицания и негации: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек [...] Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни и не знаю наверно, что [...] Я не лечусь и никогда не лечился...» (5, 99¹²⁴). В то же время, дискурс отрицания, выражение «ничего» и разные оттенки негации подразумевают ориентацию на тотальность. А это вовсе не тотальность отрицания «всего» (наоборот, всегда приводятся ограничения: «К тому же я еще и суеверен до крайности; ну хоть настолько, чтоб уважать медицину.», 5, 99). Функция ориентации на тотальность таким образом проявляется не в умеривании радикальных и чистых форм отрицания. Создание понятия *все, всего* – и наряду с ним *одного из всех* – напр., *каждого* – отмечает параллельность онтологии *всего* (*целостности, тотальности, максимализации*) и *ничего* (*минимализации до идеи исчезновения и утверждения несуществования*). Краткий, но типичный пример: «...не сумею вам объяснить, кому именно я насолю [...] моей злостью; я отлично хорошо знаю, что и докторам я никак не смогу “нагадить” [...] я лучше всякого знаю, что всем этим я единственно только себе поврежу и никому больше...» (5, 99). Безусловно, здесь налицо ряд *негаций*, в то время как сам синтаксис сообщения внушает *максимализацию*, в данном случае, знания и познания (сознания), но что важнее, самого дискурсивного выражения. Говорящий утверждает: «не сумею вам объяснить», внушая неимение достаточного и точного знания для объяснения, а затем сразу же превращает свое отрицание в противоположное → «я отлично хорошо

¹²³ О связи данной проблемы с полемикой по вопросам теории «разумного эгоизма» и с романом Чернышевского «Что делать?», см., напр. Frank, 1961; Штедке, 1976; Лахузен, 1987; Peace, 1993; Scanlan, 2002.

¹²⁴ Текст «Записок из подполья» цитируется по изданию Достоевский, 1973. В цитатах из художественной и научной литературы курсивы мои – К. К.

знаю», но в этом проявляется не только ограничение уже сказанного или его переход в противоположный смысл, а начинается градация и интенсификация уточнения значения → «я лучше всякого знаю», а на этом, как и на следующем этапе данного процесса, ориентация на идею *всё, все, каждый из всех* получает и лексическое выражение: лучше «*всякого*», которое затем повторяется в форме «*всем этим я единственно*», и только после этого мы возвращаемся к выражению отрицания: «*никому больше*». В итоге получается сообщение, говорящее о неумении объяснения, все больше и больше интенсифицируя утверждение об обладании нужным знанием для этого объяснения, а это знание оценивается на фоне знания *всех*. Одновременно, сам объект для объяснения также ставится в контекст *всего* («*всем этим*»). В результате такого процесса в конце сообщения утверждение, что «*единственно только себе поврежу и никому больше*» уже имеет двойной смысловой оттенок. С одной стороны, это усиленная негация; с другой, в указанном контексте интенсификации и развития мотивных вариантов *всё, всего, каждого* данное ограничение «*только себе*» максимализирует имплицитную референцию на идею *все* (только себе, значит *из всех только я*). В этом свете выражение «*никому больше*» доводит до максимализации как содержание объекта описания («*всем этим <значит всем поведением подпольного человека – К. К.>*»), так и утверждение субъекта, который в целостном принимает на себя атрибут *всего и всех*. Это и есть основная интенция субъекта дискурса, которая проявляется уже в начале записок.

Стремление достичь *всего*, как мы узнаем по целостному тексту, сосредоточено на устранении, упразднении состояния *несуществования, небытия*, которое – упрощенно говоря – проявляется в том, что подпольный человек страдает от чувства, что считаются с ним как бы его «*и не было*» (5, 117), т.е. отрицают его существование. При этом весь идейный материал гносеологического скепсиса равняется интеллектуальному хранению, поддержке и усилению рационализации и психологизации (даже морального оправдания) состояния отсутствия, нехватки, пустого/опустошения, разрушения и нулевого состояния (выражаясь имплицитной семантической условностью, см. состояние-нигиль). Вспомним из пятой главы итог, подведенный рациональному и психологическому действию подпольного человека, когда он жалуется на «*химическое разложение*» (ср. 5, 108, т.е. деконструкцию) сознанием первичных причин, в результате чего

Смотришь – предмет *улетучивается*, резоны *испаряются*, виновник *не отыскивается*, обида становится не обидой, а фатумом [...] – то есть стену побольше прибить [...] не нашел первоначальной причины. А попробуй увлекись своим чувством [...] без первоначальной причины, отгоняя сознание хоть на это время; возненавидь или полюби, чтоб только не сидеть сложа руки. [...] В результате: *мыльный пузырь и инерция*. (5, 108-109)

Семантический ход, воплощенный в языковой динамике мотивных вариантов *всё и ничего*, процитированных и интерпретированных выше из первого абзаца текста, тем не менее, вырисовывает иную картину. Там в установке на приобретение формы утверждения через постоянную интенсификацию мотивов *всё, все, каждый из всех* обнаруживается именно то смысловое приближение к возможности компенсации сильных форм негаций дискурсом, которое никак не удастся подпольному человеку в его жизни, ни в русле мышления, ни в психологических переживаниях. В

этих областях его история заканчивается *улетучиванием*, исчезновением самого гносеологического объекта, *испарением* действий познавательных методов, нехваткой или безрезультативностью практической активности, поступка («виновник *не отыскивается*»), не только самоупразднением, (само)уничтожением человеческого переживания, но и невозможностью знакового фиксирования действительности каким-то рациональным (научным) или психологическим языком («обида становится не обидой, а *фатумом*»). Все оказывается уже само по себе *мыльным пузырем*, или скорее на глазах *превращается* в мыльный пузырь. Такое состояние и называется *инерцией*. Инерция, следовательно, значит не лишь «сидеть сложа руки» (*ничего не делать*, что в целом контексте равняется идее *не существовать*, см. неустанное желание подпольного человека «чтоб только не сидеть сложа руки»¹²⁵). Инерция, как видно, это и *неадекватная семиотичность*, при которой постоянно стираются четкие контуры знаков и их значения – обида это не обида, а фатум. Проблема тут не в том, что переосмысляются знаки и значения, ведь в этом улавливался бы основной механизм порождения художественного текста, в котором развертывание семантического сюжета всегда предполагает систематическую трансформацию на уровне означающих и означаемых, т.е. художественной условности семантизации. Проблема вместо этого в том, что в утверждении *обида это фатум* подпольный человек производит речь, язык которой «замыкается на себя», как Томас Лахузен (1987, 9) обращает на это внимание, изучая разные формы тавтологии в «Записках из подполья». К данному примеру добавим, что ведь фатум это *стена* (подпольный человек и толкует его в подобном смысле), это *невозможность*, или по-другому объясняя – *детерминация законом природы* и т.д. Он нагромождает определения, но его язык не обновляет семантику таким же образом, как и он не способен своим жизненным поведением выйти из тупика ничегонеделания, оправдываемого инертным осмыслением своих поступков. Проблема отрицания деятельности и перспектив выбора подходящего жизненного дела, следовательно, тесно связана с вопросом языка и его возможностями. В конце данной части монолога героя этим мотивируется тематизация *неподходящего слова*:

...ведь я, может, потому только и считаю себя за умного человека, что всю жизнь ничего не мог ни начать, ни окончить. Пусть, пусть я болтун, безвредный, досадный болтун, как и все мы. Но что же делать, если прямое и единственное назначение всякого умного человека есть болтовня, то есть *умышленное пересыпанье из пустого в порожнее*. (5, 109)

Мотив *пересыпанье из пустого в порожнее* как атрибут неадекватного слова и семиотичности равняется тому признаку Печорина и вообще «лишнего человека», который выражается в формуле *всё равно, одно то же, что другое, всё одинаково, нет никакого исключения, т.е. дифференциального (при)знака в акте о(бо)значения*. В психологическом смысле это равняется *скуке*, на которую подпольный человек многократно ссылается. В семиотическом смысле – это отсутствие дифференцирования знаков и их значений, когда кажущееся новое означение на самом деле *не оказывается* творческим семиотическим актом, а лишь повтором старого в новом варианте.

В связи с мотивом *слова* в «Записках из подполья» обращает на себя внимание то, что его значение удваивается: оно имплицитно метафоризируется как *поведенческое*

¹²⁵ Богатое толкование инерции в самом широком культурном контексте, см. Кларп, 1996.

слово, т.е. слово, артикулированное через поступок (практическое действие) – сигналом метафоризации служит признак *книжности поведения* (романтизм, философия детерминации, утопизм и т.д.). Яркий пример – *дуэль*, разыгравшаяся в молодости с офицером, «гремевшим саблей», затем Зверковым в подпольное время, а также с Лизой. Повтор такого книжного слова в жизненной эмпирии оказывается прямолинейным и упрощенным. Совсем по-другому обстоит дело со словом в функции формы выражения пишущего героя как субъекта дискурса. Такое слово, как свидетельствовал уже изученный первый абзац текста, семантически постепенно ведется вперед по ходу процесса интенсивных преобразований знаков и значений, т.е. в своей семантической сюжетной динамике, относящейся уже к временной плоскости формирования записок и повести. В этой черте слова пишущего героя и скрывается ключ к различению его жизненного книжного поведенческого слова и слова в его художественном творчестве. Все это тесно связано с тем, как мотивы *всё* и *ничего* входят в процесс осмысления *времени*.

В процитированном месте болтовня подпольного человека (как и всех) соотносится с тем, что он «всю жизнь ничего не мог ни начать, ни окончить». Такой недостаток мотивируется тем, что учитывая «законы природы», рациональное мышление, обнаруживая какую-либо первоначальную причину действия, всегда готово найти очередное новое причинное объяснение: «...у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления.» (5, 108). В сфере жизненного поведения неимение самого начала книжного слова (его релятивизация до бесконечных новых и новых начал, ведущих обратно во времени) равняется неумению начинать действие. Подпольный человек постоянно внушает и другой полюс бесконечности в смысле невозможности нахождения конца, т.е. неоспариваемых окончательных истин. Соответственно этому он не способен закончить никакого своего жизненного поступка с ожидаемым результатом. Невозможность выбора подходящего жизненного поступка и его безрезультативность, таким образом, явно перевоплощается в проблематику времени с мотивами начала и конца.

Творческое слово в самом рассказе героя представляет собой совсем другое осмысление времени. В дискурсивной практике линейность семантических трансформаций преодолевает как нехватку начала и конца, так и циклические, замкнутые в себе повторы. Записки, повествующие о том, как герой биографии не способен начинать и заканчивать ничего, акцентируют начало письма и меняют требование заканчивания на требование *продолжения* («Впрочем, здесь еще не кончаются “записки” этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться.», 5, 179).¹²⁶ Мотив *конец* в произведении Достоевского семантизируется и через *крайности* идейных компонентов в системе

¹²⁶ См. о противоречии линейного продвижения вперед нарратива и повторение циклического характера поведения подпольного человека: Martinsen 2013b: 264, см. также идею о жажде подпольных повествователей к целостности [“wholeness”], там же, 268, в контексте интерпретации тоски, толкуемой Арпадом Ковачем, см. Kovács, 2005. Ср. также толкование тавтологическую цикличность в смысле большой степени рекурсивности текста в рамках его связности и метаязыковых операций: Лахузен, 1987. С этим тесно связана и идея возможной непрерывности как продолжения, там же, 33-34. Противоположное толкование открытости конца дискурса, см. Knapp, 1996, 36.

мышления подпольного человека, который умеет толковать мир и себя лишь в дихотомически сформулированных, полярно противопоставленных парах. В процессе писания зарождается инклюзивность полярностей таким образом, что нарушается осмысленность и идентификация объекта описания в простых противопоставлениях. В итоге можно сказать, что сам дискурс преодолевает все те недостатки, которыми чревата подпольная жизнь, представленная в тематическом плане в тех же записках. Несоответствие темы дискурса дискурсивному акту, созвучно тому, о чем Ханзен-Лёве (1996) пишет в контексте соотношения смысла и значения (*Sinn und Bedeutung*), если в данном случае это понимается так, что смысл дискурса превышает непосредственное референтное значение этого же дискурса.¹²⁷

Суть всего подпольного поведения как действия «сорока лет» подытоживается во внутреннем диалоге, веденном героем с самим собой в пятой главе. Вернемся к уже процитированному сегменту: «А спросите, для чего я так сам себя коверкал и мучил? Ответ: затем, что скучно уж очень было сложа руки сидеть; <...> Сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял, чтоб хоть как-нибудь да пожить.» (5, 107–108). Такой ответ любопытен опять двумя моментами. Первый – «приключение» в мышлении героя является мотивом свободной воли, независимого хотения и каприза человека, которыми он готов идти наперекор законам природы, стены, принципа «дважды два четыре», научной детерминации и определенности, или разумным выгодам и т.д. Подпольная жизнь в качестве формы действия, оцениваемая как неподходящий выбор поступка, явно обреченного на крушение онтологией «живой жизни», в этом свете оказывается первой попыткой преодолеть ничегонеделание. Безрезультативность подполья приводит героя к новой попытке преодоления бездействия: «Наконец: мне скучно, а я постоянно ничего не делаю. Записыванье же действительно как будто работа. Говорят, от работы человек добрым и честным делается. Ну вот шанс по крайней мере.» (5, 123). *Против скуки* сначала подполье, чтобы только не сидеть «сложа руки», а затем писать, ведь «записыванье же действительно как будто работа».

В тексте (помимо *слова* и *скуки*) происходит и другое удваивание мотива *действия / дела*. По мнению автора записок способность к деятельности придается «непосредственным людям», которые получают как бы двойной epitheton ornans: «непосредственные люди и деятели», а затем звучит определение: «Человек же с характером, деятель» (5, 100). В то же время, эти деятели считаются глупыми, что в словаре подпольного человека означает быть *ограниченным*, а *граница* метафорически соответствует *стене*. Именно этой стене и таким людям противопоставляет себя подпольный человек. Вопрос деятельности и деятелей тем не менее перевоплощается в вопрос о *становлении* в русле лексического мотива *делаться*: «Я не только злым, но даже и *ничем не сумел сделаться*: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым.» (5, 100), а тогда проблема уже не в провале умного человека делать что-то полезное, а в первую очередь в том, что «умный человек и не может серьезно чем-нибудь *сделаться*, а *делается* чем-нибудь только дурак.» (5, 100). Хотя критика адресована «непосредственным» людям-деятелям за то, что «*все непосредственные люди* и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограничены.

¹²⁷ См. Лахузена (1987: 28) о возникновении символических значений.

Как это объяснить?» (5, 108), «непосредственность» в структуре лексических переключек становится атрибутом самого подпольного человека: «И всё от скуки, господ, всё от скуки; инерция задавила. Ведь прямой, законный, *непосредственный* плод сознания – это инерция, то есть сознательное сложа-руки-сиденье.» (5, 108). Непосредственность непосредственных людей-деятели стоит здесь в явном параллелизме с «непосредственным» подпольным «плодом сознания» субъекта, лишенного способности как к адекватному действию в живой жизни (подпольное поведение), так и к той общественной деятельности, которая характеризует героя в молодости, когда он служил («Я, например, искренно презирал свою *служебную деятельность* и не плевался только по необходимости, потому что сам там *сидел* и деньги за то получал», 5, 126). После того, как подпольное поведение, пришедшее на смену деятельности в доподпольный период, терпит подобное крушение (два типа поведения оказываются семантическими эквивалентами), подполье также должно подвергаться смене – третьим этапом будет появляться записывание и повествование (творчество).¹²⁸ Необходимость смены и ее мотивировка определяются в том числе и через ключевой признак *непосредственность*, который, являясь атрибутом подпольного человека, в определенном смысле повторяет характеристику неподпольных непосредственных (см. «я» vs «они»). Этим и объясняется неудача подполья: герой повторяет/дублирует то, от чего хотел отступить, чем и стирается дифференцирование деятельности в двух фазисах жизни, подпольного и доподпольного. Повторенная модель поведения на фоне сдвига ударения с идеи *делать* на идею *делаться* приобретает смысл лжедеятельности, рифмующейся с идеей машинальной или даже творческой книжности (см. подпольную фантазию).

Сказанным не исчерпывается ряд удвоенных мотивных определений, благодаря чему структурируются три жизненных этапа героя и модель их взаимоотношения. Если учесть, что «*непосредственный* плод сознания» – это инерция, в смысле сложа-руки-сиденья, то следует отметить, что в эквивалентность с этим ставится не только инерция того служебного мира, от которого герой записок изолировался в подполье, в свое уже устойчивое жизненное пространство (где, он всегда и пребывал, но затем он там и «поселился в этом углу», 5, 101). Если в первом пространстве деятельности (в хронотопе доподполья) офицер «омерзительно гремел саблей» и у молодого героя полтора года с ним «за эту саблю война была» (5, 100), то война с офицером затем получает мотивировку подпольной психологией и философией героя, а затем война как признак инерции применяется и к характеристике самого писания, т.е. к попытке выйти из подпольного ничегонеделания путем деятельности нового типа «труда», созданием своеобразного дискурса. Такой дискурс в определенный момент текста приобретает характеристику через тот же мотив «греметь саблей» («вы думаете, что я пишу все это из форсу [...] дурного тона гремлю саблей, как мой офицер», 5, 101). Это и значит, что сам текст пишущего героя тоже получает тонкую характеристику по признаку динамики своего развертывания.

Представленное свидетельствует о том, что формулирование идеи

¹²⁸ Сегментацию на периоды доподпольный, подпольный и постподпольный, см. в работе: Ковач, 1985, где разрабатывается концепция динамики персонажа и толкование процессуального возникновения творческой деятельности в русле прозрения героя.

дела / деяния / деятельности, с ее разными мотивными вариантами и последовательными смысловыми сочетаниями в разнообразных формах переключек и параллелизмов, в конечном счете обозначает три этапа и три возможности делания и выбора поступка. Этим этапам придается определение на языковом уровне текста, где логика развития данных определений развивает явную смысловую трансформацию, т.е. семантический сюжет. Он лежит вне конкретного содержания динамики философского/логического мышления героя или психологии его поведения. В этом свете подполье приобретает свое значение как попытка выйти из того типа поведения – общественного и личного – в котором герой вынужден был участвовать в молодости, но который он, вопреки своей воле, умел лишь повторять, моделируя этим определенную парадигму.

Отказ подпольного человека от действия, характеризующего окружающую среду посредством поступка, ориентированного на выбор подполья, таким образом можно назвать метаповедением, через которое на практике интерпретируется отказанная модель. А когда подвергается отрицанию выстроенная метамодель, текст Достоевского указывает и на причинно-следственную связь безрезультативности метамодели, восходящей к эпигонскому повтору неоригинальности и книжности. А третьим этапом и возможностью является деятельность творчеством, которая означает отличающееся от подпольного периода отношение к слову,¹²⁹ новым дискурсом, которое постепенно равертывается. По ходу этого процесса бросаются в глаза две особенности. Первая – подпольный человек своей практической метамоделью закона мира в крайней форме разоблачает тот общий принцип поведения, который он обнаруживает во всех: «Впрочем, что ж я? – все это делают; болезнями-то и тщеславятся, а я, пожалуй, и больше всех.» (5, 102). Это и соответствует мысли в конце повести: «...я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины...» (5, 178). Другая особенность сводится к тому, что записки и повесть героя в равной мере служат толкованием практической метамодели, представляемой подпольным поведением, к тому же, таким образом, что в самом дискурсе разоблачается аналогичность закона поведения мира и принципа, лежащего в основе борьбы против него. Важно отметить, что рассказывающий герой не только в конце своего повествования, но и в его начале пребывает в процессе дискурсивного сочинения толкования своего подполья как эпигонства, книжности или повтора установленных парадигм поведения, а к концу он лишь доводит до крайнего предела дискурсивное толкование повторности, что тематически соответствует утверждению, что «норовим быть какими-то *небывальными общечеловеками*. Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж не от живых отцов» (5, 179).

Понятие такого общечеловека в произведении Достоевского конкретизируется в нескольких димензиях. Во-первых, отмечается импульс «быть как все», упразднить непреодолимую дистанцию между «я» и «они». Это психология желания подпольного человека быть выше всех, *над* «ними», в целях одержать победу над собственным чувством, что его постоянно ставят «ни во что», как бы его и не было, отрицая его существование. В интеллектуальном плане идея «всеобщего» человека указывает на учет всеобщие канонизированных поведенческих структур. Подпольный событийный

¹²⁹ См. токование данного процесса через сдвиг от «цитирования аргументов практического умаразличении» к автоцитатам, Ковач, 1985, 335.

сюжет раскрывает тот парадокс, что при утверждении и отрицании данного мира мышление в равной мере остается в рамках данных парадигм, психически и интеллектуально даже отказ определяется в зависимости от них, и в этом смысле «всеобщий» человек не способен преобразовать поведенческие принципы мира, своим делом / деятельностью / поступком творчески перетворяя действительность. Доведением до крайности онтологических и гносеологических парадигм бытия, он все же выходит еще «живее» (5, 178), чем все остальные, которые не строят метамодель осмысляемых экзистенциальных, интеллектуальных, психологических и нравственных законов. Герой все же приходит к выводу, что он как и все, «мертворожден». Вопрос сам является более общим, чем проблематика шестидесятых годов, или их отношение к сороковым годам с историко-литературными и духовными культурами этих эпох. Всеобщность понимается и так, что отыскивание себя всечеловеком не может избежать постановки вопроса жизни и смерти и необходимости ежеминутного старания перевоплотить смерть в жизнь. Даже при таких условиях, когда он рождается «не от живых отцов», а порожден «смертью», или шире и в культурном смысле говоря, его бытие восходит к инертным культурным парадигмам и эпохам, которые не способны возобновляться. Тут мы пришли к еще одному определению деяния / дела, которое мотивически переписывается как *труд*. У подпольного человека очень трудно с «живою жизнью»: «“Живая жизнь” с непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало *трудно*» (5, 176). А итоговое утверждение так звучит: «Ведь мы до того дошли, что настоящую “живую жизнь” чуть не считаем за *труд*, почти что за *службу*, и все мы про себя согласны, что по книжке лучше» (5, 176). Здесь опять наглядна смысловая трансформация мотивов: *служба* означала раньше канцелярскую *службу*, изначально связанную с признаком *злой* («Я прежде служил [...] Я был злой чиновник.», 5, 99), а затем приобрела более отвлеченное значение в контексте подпольного поведения: «в своем углу, дразня себя злобным и *ни к чему не служащим* утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак» (5, 100). *Служба*, *служащая* выходом из подполья посредством творческого языка созданной метамодели подпольного метаповедения, с указанной логикой мотивного развития, к концу художественного повествования героя перевоплощается в атрибут «живой жизни», за которую следует значительно трудиться.

Непосредственность, таким образом, имплицитно переписывается на мотив *знаковой посредственности*, смысл которого как *семиотическое творчество* гармонично соединяет формы отрицания и утверждения в процессе создания все новых и новых перевоплощений знаков (по ходу их удвоения и упорядочения в семантический сюжет), формируя опосредствованный условный смысловой мир «Записок из подполья». По ходу такого *труда* текста, совершенного путем отрицания и утверждения в ходе создания реляционных смыслов мотивов, проявляется в плане семантики динамика *полноты* («*всего*»), которая онтологически и гносеологически надстраивается над идеей «*ничего*». Сюжет постоянной динамизации реляции *всё–ничего*, таким образом, следует оценить как семиотическую предпосылку толкования и переписания идеи *нигилизма*, ставя ее интерпретацию в семиотический контекст.

REFERENCES

- Белый, А. (1969). *Мастерство Гоголя*. (= Slavische Propyläen. Texte in Neu- and Nachdrucken 59). München: Wilhelm Fink Verlag.
- Достоевский, Ф. М. (1973). *Полное собрание в тридцати томах*. Т. 5. Ленинград: Наука.
- Исупов, К. Г. (2014). Метафизика Лермонтова. In: *М. Ю. Лермонтов: pro et contra. Личность и идейно-художественное наследие М. Ю. Лермонтова в оценках отечественных и зарубежных исследователей и мыслителей*. Антология. Т. 2. (= Русская христианская гуманитарная академия. Серия «Русский путь».) Д. К. Богатырев (председатель редколлегии), С. В. Савинков, К. Г. Исупов (сост.) (53-72). Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии.
- Кроо, К. (2016). Тема нигилизма в контексте поэтики «элегической» прозы Ф. М. Достоевского. In: В. Н. Захаров, К. А. Степаняна, Б. Тихомиров (ред.), *Современные проблемы изучения поэтики и биографии Ф. М. Достоевского: Рецепция, вариации, интерпретации* (= Dostoevsky Monographs. A Series of the International Dostoevsky Society. Volume V) (218-231). Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин.
- Лахманн, Р. (2011). Двойник-симулякр: Гоголь, Достоевский, Набоков. In: *Память и литература. Интертекстуальность в русской литературе XIX-XX веков* (318-345). Санкт-Петербург: ИД «Петрополис».
- Лахузен, Т. (1987). Инверсия утопического дискурса. О *Записках из подполья* Ф. М. Достоевского. *Wiener Slavistischer Almanach* 20, 5-40.
- Хансен-Лёве, О. (2014). Печорин как женщина и лошадь в романе-эксперименте Лермонтова. In: *М. Ю. Лермонтов: pro et contra...* (526-557). Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии.
- Штедке, К. 1976. О различных контекстах «Записок из подполья». In: *Достоевский. Материалы и исследования*. Т. 2. (74-81). Ленинград: Наука.
- Belknap, R. L. (2000). The “Gentle Creature” as the Climax of a Work of Art that Almost Exists. *Dostoevsky Studies, New Series* 4, 35-42.
- Frank, J. (1961). Nihilism and *Notes from Underground*. *The Sewanee Review* 69(1), 1-33.
- Gasperetti, D. (1989). The Double: Dostoevskij’s Self-Effacing Narrative. *The Slavic and East European Journal*, 33(2), 217-234.
- Hansen-Löve, A. (1996). Zum Diskurs des End- und Nullspiels bei Dostoevskij. *Welt der Slaven* 41, 299-324.
- Knapp, L. (1996). The Force of Inertia: Dostoevsky’s Confessional Heroes and the “Tragedy of the Underground”. In: *The Annihilation of Inertia. Dostoevsky and Metaphysics* (pp. 15-43). Evanston, IL: Northwestern UP.
- Kovács, Á. (2005). *Angustia: Тоска у Достоевского*. In: *Russica Hungarica* (pp. 100–125). Budapest and Moskva: Vodolej Publishers.
- Martinsen, D. A. (2013a). Ingratitude and the Underground. *Dostoevsky Studies, New Series*, 17, 7-21.
- Martinsen, D. A. (2013b). Narrators from Underground. *Studies in Slavic Literature and Poetics* 58, 261-274.
- Peace, R. A. (1993). The Polemical Context. In: *Dostoyevsky’s Notes from Underground* (pp.

- 81-90). Bristol, UK: Bristol Classics Press.
- Scanlan, J. (2002). The Case Against Rational Egoism. In: *Dostoevsky the Thinker* (pp. 57-80). Ithaca, NY: Cornell UP.
- Schmid, W. (2014). Narrative Apophasis bei Puskin und Cechov. Die Erzählungen Belkins und Zwischen den Jahren. *Wiener Slawistischer Almanach*, 73. Wie nicht sprechen ... ? Apophatik des Unsagbaren im (russischen) Kunstdenken. Tagung in der Seidlvilla München, Nikolaiplatz 1b, 7.-9. 3. 2013, 177-187.
- Williams, L. L. (1995). The Underground Man: A Question of Meaning. *Studies in the Novel* 27(2), 129-140.